

*Книга четвертая*

**Время  
больших ожиданий**

## ПРЕДКИ ОСТАПА БЕНДЕРА

В февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.

Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади — все эти Привозы, Толчки и Барахолки — превратились в бульжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи.

Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.

Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.

Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц — человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики

и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».

Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализируют, а нас все равно выкинут.

— Возможны крупные неприятности! — произнес Яша роковым голосом.

Какие именно могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.

Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.

Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».

До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.

Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне неимоверно скучными из-за своего готического шрифта.

Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжу-

щей скуки, в особенности запах гвоздики — черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.

Но зато в библиотеке у профессора стояли и все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это было завидное богатство.

Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна раскрытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.

Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, — в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, — услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.

Все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.

С Черноморской улицы открывалось море — великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.

Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта.

Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.

Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей клячей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частноторговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:

— Вот уголь, уголек, уголек!

Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.

В то время Илья Арнольдович Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.

Ильф был монтером, работал он медленно. Стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.

Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.

Десятки Остапов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они всё же предлагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.

Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.

Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте Гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сюперб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.

Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.

Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда.

Я вспомнил об Ильфе и его персонаже — бесстрашном плуте Остапе Бендере — потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон барахолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.

Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздики, как и профессорская библиотека.

Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится, но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.

Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.

В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жестяную «буржуйку» мы топили старыми газетами и быстро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.

На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.

Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно гольшей.

— Вот, — сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, — имею честь представить товарища Торелли — это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.

Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.

— Торелли или Торичелли? — придиричиво спросил Яша. Он был немного туг на ухо.

— Торелли, — уныло повторил Володя Головчинер. — Да это не важно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли — в миру Блюмкис — находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Головчинер, сын киевского профессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.

Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.

Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, будто кто-то проиграл стремительную дробь на турецком барабане.

— Позвольте, я переведу, — бесстрастно сказал Володя Головчинер. — Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и по возможности без смеха.

Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходящем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.



Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четырьмя опытными журналистами. Надо пойти на риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам, может быть, даже дадут аванс — по нескольку «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.

Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.

— Разглашать раньше времени — значит сглазить! — сказал он убежденно.

Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.

— Тогда, — сказал Торелли, — завтра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.

Он надел соломенное канотье — его он до тех пор держал за спиной — и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.

— Да-а, — задумчиво произнес Яша Лифшиц. — «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.

— Вы о чем? — спросил Володя.

— О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.

— Представьте себе, — сказал Володя, — что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!

— Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? — спросил Яша. — Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.

Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.

Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело.

Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон — синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься своей щекой к щеке спящего ребенка.

Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь, — это пришел за нами товарищ Торелли.

В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.

— Весны не будет, — сказал Яша. — Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.

Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.

— Куда вы нас ведете? — придиричиво спросил Яша. — Я предчувствую жалкую авантюру.

— Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, — торопливо ответил То-

релли. — Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.

На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.

В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папах. Они даже не посмотрели на нас. Из всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:

— Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!

Мальчишки скрылись.

Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байстрюки! Чтоб вы горели огнем на том свете!»

Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.

— Не отставайте от этой машины, — сердито прошептал нам Торелли. — Тут будет дело!

Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.

На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линялые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, расшатаанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамках, выкрашенных си-

зой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящиков.

Все это имущество охранял матрос с такой рыжей проволочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.

На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».

— Сюда! Быстро! — сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с проволочными волосами не мог нас заметить.

Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.

— Прежде всего надо выяснить, — сказал он, — что значит Опродкомгуб?

Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».

Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.

— Лучшего учреждения, — пропищал он, — нам и не нужно. В самый раз!

Тогда обозлился Володя Головчинер.

— Слушайте, синьор Торичелли, — сказал он. — Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.

Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.

Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым.

— Послушайте, — сказал он, — вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу? Или, худобедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд, начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! — крикнул Торелли. — Жизнь!

— А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? — спросил Яша. — Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.

— Ха! — воскликнул Торелли. — И еще раз «ха»! И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.

Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.

— Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов, — сказал Торелли. — Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, — он показал на меня, — заместителем, товарищ Лифшиц — экономистом, а я — репортером. Но главное — проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего

голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка — первая опасность.

Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво навистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.

Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.

— Служи дяде! — говорил матрос нарочито грозным голосом. — Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-пуцик! Служи дяде!

Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.

— Вот приبلудилась с ночи, — сказал нам матрос, — и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же и придется! — ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать: — Ой же и надо взять такую дурную-смешную собачку! Ой же и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину!

Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга.

Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.

— Ах, какой парень! — неожиданно сказал Яша Лифшиц.

— Кто? — спросил Торелли.

— Конечно, не вы!

По темным коридорам красноармейцы, топя бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.

— Значит, так, — сказал Володя Головчинер. — Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник это-

го учреждения, пойдём к нему и попросим принять нас на работу.

Торелли взмахнул руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.

— Вы что? — спросил он свистящим шепотом. — Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы — и бенц! — прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналы! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?

— А как? — растерянно спросил Головчинер.

Мы с Яшей тоже опешили.

— Раз не знаете, так положитесь на меня! — высокомерно произнес Торелли. — Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!

Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним.

К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.

— Пожалуй, лучше всего будет здесь, — сказал Торелли и толкнул первую же дверь.

Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!»

Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом